

ОРЕНБУРГСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Хороший пастух снимает с овец шерсть, а не шкуру.

Светоний

Воронам все сходит с рук; голубям - никакого прощения.

Ювенал

10 мая 1737 года Татищев был назначен на должность главы Оренбургской экспедиции. «Мы на ваше вечное радение и доброе искусство всемилостивейше полагаемся, — говорилось в рескрипте, подписанном Анной, — и что вы в оной комиссии тщательнейшие свои труды прилагать не оставите, за что вы и о нашей к вам высочайшей милости и действительном награждении всегда обнадежены быть можете, яко же и ныне в знак того вас в наши тайные советники жалуем». От Татищева откупались высоким чином: как будто он входил теперь в элиту государства. К тому же он получил и военный чин генерал-поручика. Но Татищев хорошо понимал, что это не было действительным повышением. К тому же на Урале осталось много неоконченных дел, с которыми ему было больно расставаться. 25 июня он сетовал в письме к Остерману и Черкасскому, что «заводы совсем определить не возмог». Снова обострилась болезнь. Но, «опасаясь за умедление (то есть из-за промедления) ее и. в. гнева», несмотря на болезнь, «на носилках поехал до пристани, а докончания заводские поручил советнику г. Хрущеву». Хрущов, однако, тоже вскоре был отозван с заводов.

Татищев сменил на посту начальника Оренбургской экспедиции (или комиссии, как ее стали называть позднее) Ивана Кирилловича Кириллова (1689—1737). Кириллов был ярким представителем той части петровской администрации, которая неизменно на первый план ставила государственный интерес, хотя понимала его [241] несколько парадно и не любила точного учета, что чего стоит. Кириллов, как и Татищев, большое внимание уделял наукам и ратовал за образование. Он имел обширные познания в разных областях знания, а география являлась даже основным интересом его жизни. После того как Татищев был в 1720 году отправлен на Урал, именно Кириллова поставили во главе всех геодезистов, разосланных по губерниям для составления ландкарт. Выйдя из «низов», Кириллов за двадцать лет службы в Сенате дослужился до обер-секретаря (он получил этот чин в 1728 году, после того как Маслова взяли в том же качестве в Верховный тайный совет). Но и своих географических занятий он никогда не оставлял. В 1727 году им был завершён труд «Цветущее состояние Всероссийского государства в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий, отец отечества» (опубликован в 1831 году). Это было первое статистико-экономическое обозрение России. В 1734 году он «своим коштом» опубликовал 1-й том «Атласа Всероссийской империи». В качестве обер-секретаря Сената он энергично пробивает разного рода экспедиции, обычно имея в виду конкретный государственный «прибыток». Он, например, весьма прохладно отнесся к первой экспедиции Беринга (1725—1730), полагая, что путешественник «только одно известие — соединяется или не соединяется Америка — привезет, а о интересе настоящем от него ожидать нечего». Элементы «настоящего интереса» Кириллов постарался вложить в план второй Камчатской экспедиции (1733). В своем проекте он предусматривает самое широкое освоение Дальнего Востока с созданием центра в Охотске. Он верит в возможность сооружения здесь железных и судостроительных заводов, развития торговли и сельского хозяйства и даже намеревается открыть в Охотске школу, дабы могли «люди к службе знающие вырастать, а не дураками оставаться». Участникам экспедиции предписывается «металлов и минералов осматривать» и «сыскивать новых земель и островов», «дабы сколько можно в подданство приводить».

Оренбургская экспедиция также была затеяна Кирилловым. В 1731 году хан казахского Младшего жуза (одной из трех групп казахских племен) Абул-Хаир обратился с просьбой принять его в российское подданство, поскольку над казахами нависла угроза со стороны джунгар. В Петербурге просьба была воспринята с [242] удовлетворением, но действенной помощи Россия оказать была не в состоянии, так как не имела на юго-востоке ни военных сил, ни дорог, ни опорных пунктов. В этих условиях Кириллов и взялся за разработку плана Оренбургской (или, как она сначала называлась, Киргиз-Кайсацкой) экспедиции. Согласно плану Кириллова необходимо было построить крепость у впадения Ори в Яик, затем пристань у устья Сырдарьи на Аральском море и проложить охраняемый путь вплоть до Средней Азии, а при случае и до Индии. Торговля со странами Ближнего и Среднего Востока даст несметное количество золота и серебра.

Несмотря на очевидную легковесность плана, он был сравнительно легко одобрен. На помощь энергии Кириллова в данном случае пришла, с одной стороны, неосведомленность многих влиятельных лиц при дворе, а с другой - флирт с английскими торговыми компаниями, который в это время вел Бирон. Не случайно (кстати, по совету А. Кантемира) в экспедиции скоро объявится англичанин Эльтон, который впоследствии доставит немало хлопот русской стороне. Исполнение плана поручили самому Кириллову, и он страстно отдался задуманному делу. В том же 1734 году, когда Татищев направлялся на Урал, выехал в Уфу и Кириллов.

Он успел кое-что сделать. У устья Ори город был заложен. Было создано несколько опорных пунктов по юго-восточному порубежью, обнаружен путь к вновь построенному городу от Самары, куда перебрался штаб экспедиции. Но первоначальные планы были отодвинуты начавшимися волнениями башкир. Поводом для них послужило именно строительство крепостей.

Несмотря на общность, казалось бы, многих интересов, отношения Татищева с Кирилловым никогда не были доверительными и просто благоприятными, хотя им приходилось трудиться бок о бок. Слишком разными были их характеры. Татищев не мог, например, назвать «цветущим» состояние России 1727-го и какого угодно другого года. Он всюду замечал в первую очередь недостатки и всеми силами стремился их устранить. Кириллов, напротив, воспринимал действительность в радужных тонах, даже если к этому было и не слишком много оснований. В конечном счете он умел пробудить рвение у многих из своих сотрудников и чего-то добиться. Но, с точки зрения Татищева, цена получаемых результатов [243] была слишком высока, а качество низко. В итоге непонимание было взаимным.

Именно Татищев предупредил Кириллова, равно как и Петербург, о назревающем восстании башкир и советовал принять меры предосторожности. Но Кириллов расценил этот совет в письме к императрице как свидетельство неопытности Татищева и подверженности его паникерству. Он не избегал и иронии в адрес «оного действительного статского советника», перетрусившего якобы вместе с разбегавшимися от воинских команд ворами-конокрадами (намек на карательные действия посланных Кирилловым отрядов). В той же манере пишет он о Татищеве Остерману и Черкасскому, а также Бирону, которого неизменно благодарит за мнимые благодеяния.

Кириллов был, конечно, совершенно искренен, с огромной энергией принявшись за освоение Новой России, как он называл полупустынные районы, которые предстояло оживить. Он верил в серьезность многочисленных просьб послов и разговоров купцов о принятии в русское подданство народов и городов, «яко Ташкент и Арал... - рассыпанных бухарских и самаркандских провинций и богатого места Бодокшана». Татищев же, осознавший непродуманность всего предприятия, склонен был видеть в нем лишь аферу стоящих за Кирилловым лиц. В какой-то мере он, видимо, был прав. Не случайно так оживилась английская община, подогревая Кириллова сознанием

величия его дела, а Бирона - крупными чеками в европейские банки. Но сам Кириллов непосредственной корысти не искал. Он не слишком считал и казенные и свои деньги и умер, оставив наследникам 20 тысяч рублей долгу (этот долг был погашен уже много лет спустя по указанию императрицы Елизаветы).

Идее создания Новой России Кириллов надеялся подчинить и природные богатства Урала. В 1735 году он объявил о строительстве серебряного завода в Оренбурге (так он назвал город на Ори) и медного в Самаре, затребовав от Татищева мастеров. Разумеется, Татищев сразу почувствовал экономическую необоснованность намерений Кириллова. Но он воздержался пока от спора с ним и попросил только что назначенного руководителем усмирения Башкирии А. И. Румянцева на месте ознакомиться с возможностями создания таких предприятий. Румянцеву он разъясняет, в частности, что для основания завода нужны руды определенного качества и достаточное [244] количество лесов. Присланная для пробы к Татищеву руда для промышленного производства не годилась, а о лесах Кириллов просто не подумал.

Кириллов не успел получить ответа из Петербурга на свои бодрые реляции, как его отряды, продвигавшиеся к устью Ори, подверглись нападению со стороны башкир и понесли тяжелый урон. Башкиры нападали и на русские деревни, вырезая или уводя целиком их население. Собственную халатность и непредусмотрительность кирилловская администрация старалась возместить самыми крутыми мерами в отношении восставших. Особенно отличался свирепостью полковник Тевкелев, крещеный мурза, занимавший видное место в управлении Кириллова и считавшийся главным знатоком вопросов, связанных с инородцами. Он собственноручно пытал захваченных в плен, разорял деревни, забивал до смерти многих жителей.

Если таким образом «новороссы» думали оправдаться перед Петербургом, то они угадали. В Петербурге эти меры получили полное одобрение. Зимой 1737 года там ожидали скорого окончания комиссии (то есть военной экспедиции против восставших башкир), так как «уже несколько сот в разных местах переказнено, также немалое число в Казань для отводу в Остзею - одних в службу, а других в работу в Рочервик послано... деревни воровские все разорены, и так тем успокоено, что, оставя прежнее своеволие, приняли вечную присягу». В действительности же эти зверства в конечном счете и привели к распространению восстания на всю Башкирию.

Должно заметить, что инородческое население в составе Российской империи пользовалось заметными преимуществами по сравнению с русскими крестьянами. Так, башкиры, насчитывавшие до ста тысяч человек, платили в 1734 году ясака всего две тысячи рублей, и те раскладывались главным образом на пришлое население — тептярев и бобылей. В 1735 году в Сенате рассматривалось предложение о повышении подушной подати с инородцев. Это предложение было отвергнуто Масловым, который резонно полагал, что отрицательные последствия такой меры не окупятся 80 тысячами рублей прибавки. Но башкирские феодалы видели угрозу своим привилегиям в упрочении русской администрации на юго-востоке страны. Непосредственным же поводом к выступлению послужил чрезвычайный набор лошадей в Башкирии, [245] вызванный войной с Турцией (1735—1739). Восстание носило явно выраженный феодальный характер. Феодальная верхушка ставила вопрос о выходе из российского подданства и признании власти какого-нибудь хана из казахских улусов. Рядовые башкиры поначалу были безразличны к замыслам своих старшин. И лишь учиненная феодалами резня в русских поселениях да жестокости Тевкелева и других администраторов пробудили взаимную вражду и широкие волнения.

Мятеж затронул и районы уральских заводов, где русские деревни, приписанные к заводам, подверглись нападению. Татищев организовал из русских крестьян отряды, с

помощью которых ему удалось усмирить зауральскую часть Башкирии. Этот успех на первых порах породил надежду в Петербурге, что Татищев справится с ролью усмирителя края.

Кириллов умер от туберкулеза 14 апреля 1737 года, оставив множество незаконченных дел и нерешенных проблем. Одни из них Татищев принимал с удовольствием, другие — с плохо скрываемым раздражением. В ведение Татищева теперь перешли все геодезисты, занятые составлением ландкарт, — давняя его мечта. В бумагах Кириллова он нашел ландкарты и незавершенные географические и исторические сочинения, в том числе несколько летописей, привезенных Кирилловым благодаря содействию Маслова из сенатского архива. (Татищев вернул рукописи в Сенат, но предварительно ознакомился с их содержанием.) Не нравилась же Татищеву вся затея с продвижением в Среднюю Азию и легкомысленное, на его взгляд, отношение к просьбам о принятии тех или иных народов в российское подданство. Он видел в этих просьбах стремление получить односторонние выгоды за счет Российского государства.

По своему характеру Кириллов не любил снисходить до мелочей, а потому он и не знал, чем занималась его канцелярия. Порядка же в ней никакого не было, и из-за этого, по заключению Татищева, «учинились проронки». Они выразились в «передаче» (то есть в переплате) жалованья и в «великих передачах» — «в порядке провианта и провоза». Татищев не пытается выяснить, делалось ли это «из корысти или продерзости». Но он подозревает (и не без оснований) некоторых сотрудников Кириллова в нечистоплотности.

Осудил Татищев и выбор места для строительства [246] Оренбурга: место низкое, затопляемое, бесплодное и безлесное, «великие горы» отгораживают его от других русских городов, затрудняя с ними связь. «Кому это в вину причесть, — оговаривался Татищев, — не знаю, ибо инженерные офицеры сказывают, что о неудобствах Кириллову представляли, да слушать не хотел, и офицера искусного в городостроении нет». Заключение Татищева нашли справедливым. По его наметкам строился новый Оренбург, а старый остался как город Орск.

Дальнейшее продвижение на юго-восток в это время Татищев находил нецелесообразным. Но он видел возможность существенно расширить торговлю со среднеазиатскими городами. Как обычно, он советует поощрять русское купечество разного рода льготами. Вместе с тем от купцов требуется, чтобы они «порядочно поступали и никаких обманов не употребляли»: в Средней Азии они будут олицетворять не только свое сословие, но и Российское государство.

В Новой России царила анархия, удовлетворявшая Кириллова и поразившая Татищева. Здесь Татищев впервые столкнулся с казаками, и впечатление они на него произвели тягостное. «Старшин у них чрезвычайно много, и выбирают большей частью люди безграмотные... В Круг их приходит множество, где и при слушании указов бесчинство, брани и крики бывают, и часто случается, что атаман унять не в состоянии». Особенно поразила Татищева крайняя неразбериха в судопроизводстве: «Всего хуже то, что они никакого для суда закона и для правления, устава не имеют, но поступают по своевольту, не разсуждая, что им полезно или вредно: по обычаю за бездельные дела казнят смертью, а важными пренебрегают». Как и обычно, главные причины «непорядков» Татищев видит в скудном жалованье и недостатке образования. Он просит повеления «учредить школы с объявлением, что впредь безграмотных ни в какие достоинства не производить». Предлагает он также резко сократить количество начальства и ввести общий для всех казаков устав.

На новом месте Татищев начинает с восстановления коллегиальной формы правления, которой пренебрегали в Петербурге и совершенно не пользовались в канцелярии Кириллова. В его «генеральный совет» вошли Тевкелев, уфимский воевода Шемякин, астраханский вице-губернатор, генерал-майор Леонтий Яковлевич Соймонов

и [247] штаб-офицеры. Решения совета принимались таким же порядком, как и в Канцелярии горного начальства. Это приводило к тому, что Татищев далеко не всегда мог настоять на своем мнении. Но он обычно вновь и вновь возвращался к тем решениям, которые считал правильными.

В администрации Кириллова Татищева встретили различно. Петр Рычков (1712—1777), служивший бухгалтером у Кириллова, с глубоким почтением относился к обоим своим начальникам, которые, кстати, многое сделали для становления его как известного в будущем географа и историка. Были и такие, кто сразу же воспринял Татищева враждебно, и не только из-за его повышенных требований к ведению делопроизводства.

После смерти Кириллова восстание разгорелось с новой силой. В совете же не было единодушия по вопросу о путях его усмирения. Крутые меры приветствовались не только администрацией Кириллова и начальством в Петербурге, но и значительной частью местного населения: страдавших от башкирских набегов русских крестьян, татар, мишарей и других инородцев. Даже часть башкир, не поддерживавших движение, находили их оправданными. Татищев искал иные пути, более надежные и менее болезненные. В условиях, когда тысячами уничтожались раскольники, сотнями гибли от башкирских нападений русские крестьяне и инородцы небашкиры, такой «либерализм» нужно было как-то оправдывать и перед правительством, и перед коллегами-советниками. В доношении к императрице 22 января 1738 года Татищев оправдывает «умеренность» собственным опытом: когда он в 1736 году отпустил захваченных в плен старшин, бунтовщики успокоились, когда же дал согласие на казнь двоих, «послушав других... немедленно новый бунт начался».

Весной 1738 года положение снова осложнилось. 9 мая Татищев признает: «О успокоении башкирцев паче всякого чаяния весь мой должный труд уничтожился, я они начали новые нападения чинить». Тем не менее он снова настаивает на проведении той же политики. Суть ее наиболее полно выражена в беседе с башкирскими старшинами 9 января 1738 года и в ряде донесений в Петербург того же года. Татищев отказывался вести со старшинами разговор об особых правах башкир в составе Российского государства. Он подчеркивал, что они и так равноправные подданные императрицы, такие же, [248] как сам Татищев или казахский хан Абул-Хаир, под власть которого собирались перейти башкирские старшины. Положение их лучше, нежели положение крепостного сословия. Переход под власть казахских ханов может только ухудшить положение башкир. «Под властью Русского государства, — заверял Татищев, — и последней между вами в лучшем благополучии, покое и довольстве, нежели ханы киргизские (то есть казахские) пребывали... Вы имели покойные дома, довольство скота, пчел, жит и протчего, а оные ничего того, почитай, кроме скота, не имеют, и с нуждою в зимние времена, переходя с места на место, питаются, а вашему довольству завидуют и ревнуют».

Татищев уговаривал башкир повиниться в надежде на помилование всех, включая вождей восстания. И если «подлинно которой ведал, что он милости не достоин и смертной казни избежит не уповает, то ему честнее для сохранения своих бедных и невинных детей и сродников на смерть поступить». Так воин отдает жизнь за свою родину. В данном же случае возможно и помилование даже и виновных в убийствах многих людей. Сам Татищев настаивал на казни лишь двух выданных башкирами и неповинившихся вождей восстания: Кусяпы я Бепени, терроризировавших и собственно башкирское население. Допускал он вынесение и еще трех смертных приговоров по отношению к особо опасным «возмутителям», но оставлял решение на усмотрение правительства. С остальных, по мнению Татищева, достаточно взять клятву на Коране и отпустить. Чтобы не давать повода для раздражения башкир и злоупотреблений русских чиновников, сбор ясака и пошлин он предлагал передать

башкирским старостам. Выборные старшины должны нести и ответственность за возможные преступления и уклонения от государственных повинностей. Иностранцы, сохранившие верность правительству, должны получить равные права с башкирами.

Осложнение обстановки не изменило позиции Татищева. «Хотя Абул-Хаир-хан свою присягу нарушил, — сообщает он в Петербург, — однако я, взирая на глупую их дикость и опасаясь, чтоб других их салтанов и ханов жестокостью не острашать, намерен с ним ласково обойтись и о погрешности его разговором выговорить». Однако эта его позиция вызвала в Петербурге крайнее раздражение. «Мы с великим удивлением и [249] неудовольствием усмотрели, коим образом от бунтующих башкиров новые замешания начались, — говорилось в царском указе. — Вы в прежних своих доношениях именно обнадеживали весь башкирский народ добрым способом в усмирении и должное покорение привести и что уже многие с повинными приходят и штрафных лошадей приводят». В указе прямо обвиняли Татищева и Соймонова в том, что они «нималого поиску (то есть обычных репрессий) над ними не учинили, и таким своим мешканьем дали им повод новые беспокойства заводить».

До самой смерти гуманизм Татищева будет оцениваться верхами как упущения по службе. А он продолжал стоять на своем. С Абул-Хаиром он очень хорошо побеседовал. Хану понравились подарки, а также то, что имя его известно всей России. Татищев заверил, что оно будет известно и всей Европе, поскольку о его возвращении в русское подданство будут извещены все русские резиденты при иностранных дворах. Со своей стороны, Абул-Хаир заверял, что он и не мыслил себя вне России. Пытаясь уклониться от посылки команд против восставших, Татищев жаловался в Петербург на то, что войску не отпускаются жалованье и провиант. Но из столицы с раздражением отвечали, что войску достаточно иметь ружья.

Более удовлетворяющий Петербург подход уже после отстранения Татищева продемонстрировал его преемник князь Урусов летом 1740 года. Было казнено 432 человека за те или иные провинности и еще 170 для «потомственного страха». Сожгли 107 деревень, роздали усмирителям в собственность 1862 человека и сослали в остзейские полки и на флот 135 человек.

Настаивая на добром отношении к местному населению, Татищев последовательно пресекал злоупотребления русской администрации. Он решительно возражал против прежней практики, когда все население края рассматривалось как «неприятель», победа над которым «по праву войны» позволяла распоряжаться имуществом побежденных. Он настаивал на том, чтобы из Петербурга было дано специальное разъяснение, дабы «командирам до башкирских пожитков не касаться, за тяжко поставили; и правда, если бы сие с регулярным неприятелем было, в бунтовщиках же весьма иное состояние, ибо многие невинные находятся».

К приезду Татищева за многочисленные служебные [250] злоупотребления под военным судом находился капитан Житков. За грабеж башкирского населения «без всякой причины», за творимый его командой произвол и убийства населения по настоянию Татищева капитан был приговорен к смертной казни. Сурового наказания требовал Татищев и майору Вронскому, который «принесших повинную и безборонных оступя, неколико сот побил, и пожитки себе побрал». Оказалось, что майор «не токмо по указам и уставам не наказан, но и не сужден». В итоге же «многие, увидя, не токмо с повинною не пошли, но и новой бунт воздвигнули, коль же паче известно, что многие командиры для такого лакомства, забыв свою должность, мечутся за пожитками».

За взятки, казнокрадство и грабеж башкирского населения был предан суду и уфимский воевода Шемякин. Шемякин оказался весьма деятельным авантюристом, вовсе не склонным виниться или даже оправдываться. В совете он, защищая свою канцелярию, «спорил долго о том, что воеводы и подьячие жалованья не имеют и им брать не

запрещено». В этом был определенный резон, и Татищев запросил кабинет-министров, как ему быть. Поскольку о несправедливой деятельности Шемякина в Петербург приходило немало уведомлений и до этого, Шемякина отстранили от должности. По существовавшему установлению в числе судей не могли быть лица, враждебно относящиеся к подсудимому. Пытаясь устроить на людях шумную ссору, Шемякин заявился непосредственно к Татищеву и начал его оскорблять. Татищев, однако, проявил выдержку и спокойно выставил непрошеного гостя. После этого Шемякин стал усиленно распространять версию, будто он знает за Татищевым «такие важные дела, что или мне, или ему голову отрубят».

Резко пресекал Татищев и грубое самоуправство Тевкелева. Но занятый искоренением обычных пороков администрации своего времени, Татищев не заметил, как над ним самим собрались тучи и на него «повесили» те самые обвинения, которые он совершенно справедливо предъявлял местной администрации. Как это ни парадоксально, но в условиях, когда все от кабинет-министров до последнего чиновника промышляли (или вынуждены были промышлять) взятками, именно обвинение во взяточничестве, если ему дадут ход, могло реально повредить тому или иному деятелю аппарата.

Татищев все делал основательно, даже если [251] исполнял какие-то обязанности временно. В данном случае его занимали долговременные отношения русского и нерусского населения в составе единого государства. Если правительство интересовало лишь отношения с феодальной верхушкой, то Татищев был озабочен установлением нормальных и дружественных отношений между самими народами. Этой цели должно было служить взаимное овладение языками: русским и инородческими. Татищев намечал создание ряда словарей, которые должны были помочь в такого рода общении. По его настоянию К. А. Кондратович, бывший «придворный философ» (а на самом деле «гуслиар»), уже в 1734 году бежавший от двора на Урал, где нашлось место учителя Екатеринбургской школы, составил ряд таких словарей (позднее Кондратович выступает как не слишком талантливый, но весьма плодовитый литератор, перу которого принадлежало до десяти тысяч разных сочинений). Сам Татищев был достаточно осведомлен в угро-финских и тюркских языках. В Самаре при нем был составлен «Российско-татаро-калмыцкий словарь». Как историка Татищев интересовали памятники письменной и материальной культуры всех нерусских народов. Как политик и администратор, он стремился проникнуть в суть традиций и особенностей быта, порой оказывавшихся препятствием для сближения народов. Ему представлялось важным дать историю всех входящих в состав России народов, особенно в их отношении к России.

Еще в 1724 году в связи с нападениями башкир на русские поселения Татищев советовал «взять от лучших мурз детей» и учить их русской грамоте. Ученики будут привыкать к русскому образу жизни, а если обращаться с ними «ласкою и толкованием», то «без принуждения» примут и христианство. Грамотных мурз Татищев советовал приравнять к русскому шляхетству, а рядовым должно было разъяснять, что грамота всегда на пользу, дабы те же русские чиновники не обманывали их. О необходимости обучения иноверцев говорит Татищев и в Горном уставе. Он советует их «принимать равно как русских» и «языка же всякого учиться не воспрещать, но паче к тому поохочивать». Теперь в Самаре им создана первая татаро-калмыцкая школа, которую возглавил «студент калмыцкого языка» Иван Ерофеев. В этой школе работал и знаток восточных языков Махмуд Абдурахманов. [252]

Наряду с выполнением административных обязанностей Татищев продолжает напряженную научную деятельность. В 1738 году им составлены карта самарской излучины Волги, карты реки Яика и ряда пограничных районов. Работает Татищев и над «Общим географическим описанием Сибири», где дается обзор природных богатств края с экскурсами в историю и этнографию.

В 1737 году Татищев разработал «Предложение о сочинении истории и географии», которое было переведено на латинский язык для несведущих в русском языке профессоров Академии наук. Это был вопросник, насчитывавший 198 вопросов, касавшихся истории, географии, этнографии и языка. Вопросник предполагалось разослать по всем районам России. В «теоретических» частях Татищев обосновывает необходимость предлагаемой работы: каждый благорассудный знает, «колько история в мире пользы приносит». И положительные и отрицательные примеры истории полезны и необходимы для гражданского воспитания.

Не оставляет Татищев и основные свои труды: «Историю Российскую» и памятники русского права. В 1738 году он готовит к изданию открытый им памятник: Судебник Ивана Грозного (1550 год). Юридические установления прошлого позволяют ему высказаться по важнейшим тенденциям политической и социальной истории России XVI—XVIII веков, что он и делает в обстоятельных примечаниях. По-прежнему он разыскивает рукописи, оплачивает за свой счет их переписку или переводы, с тем чтобы потом передать их Академии наук, покупает книги, многие из которых отправляет в Екатеринбургскую библиотеку. У него всегда есть множество предложений для Академии наук. К сожалению, Академия наук никак не находит возможным опубликовать хоть что-либо из предлагаемого Татищевым.

К 1739 году им была подготовлена к опубликованию часть «Истории Российской». В этом варианте Татищев стремился сохранить язык летописей и других источников, отнеся собственные суждения в примечания. Такой способ изложения ставил автора перед неразрешимыми трудностями. Источники были разновременными и разнохарактерными, и просто новый свод на их основе не получался. Поэтому в текст все равно приходилось «вмешиваться» для устранения противоречий и разногласий. [253] Читался же текст, написанный языком разновременных документов, чрезвычайно трудно.

Татищев неизменно искал людей, с которыми можно было бы поговорить об истории и посоветоваться о трудностях, встававших при ее написании. У него накопилось много дел, для разрешения которых надо было ехать в Петербург. Но едва ли не более всего хотелось ему получить грамотную оценку своего труда. В Петербурге находились многие его давние доброжелатели и собеседники. В 1738 году (не совсем праведным путем) круто пошел в гору знакомый нам Артемий Петрович Волинский: он стал кабинет-министром и первым докладчиком дел у императрицы. Вокруг Волинского образовался кружок лиц, интересовавшихся теми же вопросами, что и Татищев. В этом кружке оказался и недавний сотрудник Татищева Андрей Хрущов, на сестре которого был женат Волинский; только что получивший должность обер-прокурора Сената знаменитый гидрограф Федор Соймонов; архитектор Петр Михайлович Еропкин, по выражению современника - «люди, славные своим разумом», а также другие давние знакомые.

В какой-то мере кружок Волинского оправдал надежды Татищева. Волинский, Хрущов и Еропкин предоставили по приезду Татищева в Петербург вместе с замечаниями свои рукописи, из которых он сделал выписки. Почти все читавшие советовали перевести текст на современный язык. Не вполне удовлетворил их, видимо, вообще чересчур строгий, «академический» стиль Татищева. Но в целом «История» была принята как крупнейшее событие трудной для российского самосознания поры, то есть так, как она и заслуживала. Замечания Татищев учел. Ему оставалось лишь сожалеть потом, что рукописи, из которых он делал выписки, исчезли во время следствия по делу Волинского в 1740 году.

Как и семнадцать лет назад, Татищев не знал о готовящейся против него кампании. Он испросил разрешения о поездке в Петербург для согласования большого числа разнообразных дел и в начале 1739 года выехал туда. А вскоре вслед за ним с готовым доносом выехал Тевкелев.

Когда речь заходит о третьей следственной комиссии, нередко говорится о том, что врагов себе Татищев создавал сам. Какое-то основание для таких суждений он дал. Но вряд ли все-таки значительное. Все его ссоры обычно [254] вызывались приверженностью к законности и целесообразности в собственной его трактовке. Примером превышения им полномочий явился арест (с наложением цепей) протопопа Антипы Мартинианова. Этот акт возбудил сильное негодование Синода, без санкции которого нельзя было поднимать руку на духовное лицо. Татищеву пришлось оправдываться перед самой Анной. Он признал себя виновным и «не по оправданию, но токмо ко известию» разъяснил, в чем заключается дело. Хозяин пожаловался на проживавшего у него протопопа: разломал у него баню, обидел «непристойными словами и -поступками» жену хозяина, а затем «хозяйку оную бил запоркою», так что она, избитая, прибежала к Татищеву искать заступничества. Протопоп был, конечно, пьян, и Татищев его «велел посадить в канцелярии на цепь, доколе проспится». Протопоп сам просил не сообщать о его дебошах в Синод, и Татищев пошел ему в этом навстречу. Он спокойно сообщает, что «оный протопоп хотя и не часто пьян бывает, но когда напьется, то редко без драки проходит». В одной из таковых его основательно побили казаки — и за дело. На Татищева же протопоп в конце концов озлобился по другой причине: начальник экспедиции не позволил ему изгнать других попов, дабы в его мощну поступали все сборы с «команды». Подобные злоупотребления допускал Татищев и в ряде других случаев.

Татищев понимал, конечно, что в Петербурге у него было больше врагов, чем друзей. Больше врагов было и на юго-восточной окраине. Если на Урале он сумел сплотить администрацию, подобрать деятельных и честных помощников, то в Самаре положение оказалось менее благоприятным. К Татищеву обычно тянулись честные и деятельные чиновники. В Самаре сразу его сторону принял Соймонов. Многие офицеры, желавшие послужить отечеству, и не мыслили себе более соответствующего их чаяниям начальства. Но честным людям вообще было трудно удержаться на службе. И вдвойне трудно — в столь беспокойном крае, каким было юго-восточное порубежье страны. Местные воеводы привыкли считать, что за злоупотребления с них никто ничего не спросит: Петербургу не до того. К тому же обычно у них имелись при дворе высокие покровители, которым регулярно отчислялась солидная часть награбленного с русского и нерусского населения. Это Татищев тоже, очевидно, [255] понимал. Но вопрос стоял, в сущности, лишь так: либо он отказывается от своих идей, либо пытается выполнить поручения, навлекая ненависть местных административных хищников и возвышающегося над ними придворного многоглавого дракона.

Коллегиальное управление, введенное в Оренбургском крае Татищевым, было не просто практической проверкой одной из его идей. Он таким путем имел возможность «раскрыть» того же Тевкелева, который вынужден был ставить подпись под решением или же обосновывать свое несогласие. А Тевкелев привык лишь к таким «доводам», как насилие или обращение к высоким покровителям, среди которых был и сам Остерман. Не слишком надеясь на порядочность центральных учреждений, Татищев засыпает их своими донесениями и предложениями, не без оснований опасаясь, чтоб его не обвинили в самоуправстве. За два года он успел обменяться с Кабинетом двумястами (!) донесениями и указами. Кабинет же обычно советовал держаться инструкции, в которой многие частные случаи, конечно, не были оговорены. Потом Татищева будут обвинять в том, что он делал не так, как следовало бы, а он мог отвечать, что им исполнялось коллегиальное решение с неизменным уведомлением о нем Кабинета.

Открытая война против Татищева началась после того, как он в марте 1738 года в весьма язвительной форме отверг домогательства Бирона и Шемберга, пытавшихся через подставную фигуру заводчика Осокина заполучить гору Благодать. Бирон прямо поручает М. Головкину приискать материал, который помог бы очернить

Татищева. Головкин постарался привлечь всех недовольных Татищевым. В результате главными его обвинителями оказались махровый казнокрад Шемякин, садист Тевкелев и другие подобные фигуры. Почти все свидетели обвинения были либо наказаны Татищевым за уголовные преступления, вроде полковника Бардекевича, или имели давнюю репутацию нечистоплотных торгашей, как купец Иноземцев, неоднократно битый кнутом на торгу за махинации. Доносу Тевкелева Бирон и Остерман немедленно дали ход, настроив соответственным образом императрицу. 27 мая 1739 года из Кабинета последовал указ о создании следственной комиссии для разбора обвинения против Татищева. 29 мая Татищев уже был отстранен от дел, лишен всех званий и взят под домашний [256] арест. 17 июня на его место в Оренбургскую экспедицию был назначен Василий Урсов.

Организаторы дела не особенно скрывали своих намерений. Состав комиссии должен был подобрать Сенат. Но двух членов ему Кабинет уже направил: это «лифляндских дел советник» при Камер-коллегии Эмме и «статсрат» (то есть статский советник) Центаровий. Ни тот, ни другой никакого отношения к Оренбургской экспедиции не имели. Зато и тот и другой были доверенными людьми Бирона. В свою очередь, Сенат назначил в комиссию известного клеветы Бирона Василия Яковлевича Новосельцева, позднее высланного из столицы по делу Бирона. Членами комиссии были назначены также член Военной коллегии Семен Караулов и два советника Юстиц-коллегии: Петр Квашнин-Самарин и Сергей Долгорукий.

Кабинет предписывал вести следствие «со всевозможным поспешением и без всякого на обе стороны послабления безпристрастно, как е.и.в. указы повелевают». Члены комиссии этот выпененный язык понимали на свой манер. Они явно старались. Составили двенадцать томов следственного дела. Но поспешали они крайне медленно, поскольку конечный итог виден был и без этих двенадцати томов.

Почти все свидетели против Татищева сами находились под следствием, и необходимо было разобраться с ними. Часть их дел комиссия закрывала, несмотря на очевидность преступлений «свидетелей». Так был «оправдан» полковник Бардекевич, безудержно грабивший башкир и попутно казну (причем в размерах, гораздо больших, чем обвинители на весьма сомнительных основаниях пытались приписать Татищеву). Не спешила комиссия принять какие-либо меры и против канцелярии Шемякина, где хищения и злоупотребления лежали на поверхности и самым непосредственным образом наносили заметный ущерб государственным интересам. Более чем за два года работы комиссия так и не подготовила заключения по делу самого Татищева. Но она постоянно создавала впечатление, будто в ее распоряжении находится важный разоблачающий Татищева материал.

Донос Тевкелева, написанный рукой Бардекевича (по некоторым данным, родственника Тевкелева), являлся главным документом обвинения. Он состоял из двадцати восьми пунктов, одиннадцать из которых обвиняли Татищева в «непорядках», а остальные — во «взятках». [257] В числе злоупотреблений Татищева значилось содействие им своим братьям. Младшего, Никифора, Татищев определил комиссаром по Оренбургской экспедиции и доверил ему финансовые дела. Никифор, как отмечалось, был непригоден к воинской службе (у него была парализована левая рука и волочилась левая нога). Но в делах хозяйственных сметку он имел. Ему и ранее Василий Никитич доверял свои дела по поместьям. И теперь Татищев, естественно, стремится обезопасить себя на таком важном участке, как финансы. По доносу Тевкелева Никифора отставили еще 3 апреля 1739 года, хотя никаких злоупотреблений за ним не значилось.

Иван Никитич в 1738 году числился полковником Исетинского полка и, как доносил Тевкелев, при содействии Василия Никитича получил назначение воеводой вновь созданной Исетской провинции Оренбургского края. В августе 1739 года он был вызван в Петербург в Военную коллегию, а в сентябре 1740 года отставлен от службы и тоже отдан под следствие (в 1741 году его отпустили домой).

Факт помощи Василия Никитича своим братьям, конечно, не может вызывать сомнений. Но так же несомненно и то, что эта помощь не была связана с действительными нарушениями законов. Не наносила она, очевидно, и какого-либо ущерба казне. Скорее наоборот.

Другая группа обвинений Тевкелева — Бардекевича связана с выбором Татищевым центра управления краем. Обвинители считали, что таковым надо сделать не Самару, а Оренбург. Но Оренбург еще не был обозначен на карте: место «кирилловского» Оренбурга Татищев обоснованно отверг, а новый, отнесенный на 180 верст от старого (действительный Оренбург), еще не был построен. Татищев считал к тому же вообще преждевременным разворачивать административное строительство в необжитом районе. Разумеется, все эти вопросы обговаривались им ранее на его коллегиях, и о своих действиях он уведомлял Кабинет.

Третья группа обвинений касалась дипломатических данных Татищева. По мнению Тевкелева, Татищев неправильно вел себя с иностранцами и не советовался с Тевкелевым по разным вопросам (например, по поводу подарков старшинам и т. п.). В этом плане между Татищевым и Тевкелевым были, по-видимому, и действительные расхождения. Позднее Татищев писал И. А. Черкасову, [258] что Оренбургская экспедиция начата «по обману Тевкелёва для чаемого великого прибытка». Татищев же «прибыв усмотрел, что оное вымышлено более для собственной, нежели казенной, пользы, стал истину доносить и те обманы обличать». Это, говорит Татищев, и озлобило против него еще более Бирона, Остермана и компанию Тевкелева.

В перечне «взяток» Татищева упоминаются коровы, лошади, волчьи шкуры, овчины и т. п. Арест упомянутого купца Иноземцева объясняется попыткой получить взятку. Передача питейной торговли в нескольких новых городках в одни руки тоже заставляет предполагать взятку. Вместе с другими обвинениями Татищеву комиссией было предъявлено 109 вопросов. Он справедливо писал позднее Черкасову, что «секретарь Яковлев» «сочинил... вопросные пункты, противные форме суда и точным указам», а «многое от себя прибавил, чего в челобитьях нет».

Наученный прежним опытом, Татищев оказался «запасливым». Он отверг фактически все обвинения по службе, показав, что ни одного серьезного решения он не принимал без согласования с коллегами или одобрения сверху. Несостоятельными оказались и обвинения во взятках, вплоть до лошадей и коров, которых в степи могли давать и в качестве взяток, и просто дарили, не связывая это ни с какими услугами и обязательствами. В конечном счете Татищева обязали внести в казну 4616 рублей и 4 копейки за постройку домов для начальника экспедиции (этот дом он занимал сам как начальник) и канцелярии, за провиант, поставленный для экспедиции купцом Фирсовым (после отъезда Татищева ему из казны не было уплачено), за продажу в казну принадлежавших самому Татищеву юфтовых кож и за подарки от купцов и башкир товарами и лошадьми.

Иными словами, Татищева заставили оплатить расходы казны, одобренные его канцелярией как целесообразные. И у него были основания с достоинством ответить на вопросы комиссий: «Мои дела свидетельствуют, что я, будучи при заводах, если б хотел наживать, мог сто раз более, нежели все неправо показанный на мне взятки, там о получить. Как свидетельствуюсь моими всеподданнейшими доношениями и доказательствами, что Демидов за гору Благодать, прежде нежели другой кто об ней знал (то есть за передачу приоритета в ее открытии) 3000 [259] рублей приносу просил, чтоб я по данной мне инструкции ему отдал; Осокин о той же просил и генерал-берг-директориум (речь идет о Шемберге) на то соизволили, за которое если бы я хотел безсовестен быть не пожалел бы он десяти тысяч, и мне было с генерал-берг-директориумом согласовать не трудно. Ему же Осокину Правительствующий Сенат определил за разоренной Табынской завод заплатить 25 000 рублей, но я, рассмотрев обстоятельства, не лстясь на обещания и не боясь гроз, не мог в том

Правительствующему Сенату во всем согласовать... А затем не упоминаю от раскольников и от других по тысяче и по две приносимы не принял. В случае нужды не токмо мои собственные, но, занимая для себя у посторонних деньги, для исправления нужд казенных давал, и ныне в казне таких тысяча рублей».

Для администраторов XVIII века очень часто решение насущных вопросов связывалось с необходимостью вложить собственные средства. Меншиков всякий раз, когда возникало новое дело о его хищениях, напоминал о своих кредитах казне. Но Меншиков на вложенный в казну рубль брал из нее тысячу. У Татищева же было совершенно иное соотношение. Одной библиотеки, переданной им Екатеринбург, хватило бы на то, чтобы с лихвой покрыть «самовольные» затраты типа постройки каменного дома в Самаре и все, что вменялось в вину ему как «взятки» всеми тремя судными комиссиями. Неоднократно Татищев изъявлял желание выделить «тысячу рублей и более», если бы Академия наук взяла на себя дело переводов иностранных книг на русский язык. На фоне же покрывавшегося Сенатом и Кабинетом безудержного грабежа казны, организованного Бироном и Шембергом, на фоне общей административной практики того времени действия Татищева могли восприниматься таким же вызовом, как и его рассуждения о религиях или советы проявлять снисходительность при усмирении взволнованного края.

Комиссия не смогла обвинить Татищева. Но она не спешила и оправдать его, намеренно затягивая дело. И может быть, именно эта бесцеремонная несправедливость спасла Татищеву жизнь. Дело в том, что, попав под суд, он лишился возможности встречаться с «конфидентами»: Волынским, Хрущевым, Еропкиным и другими участниками заговора Волынского.

Дело Волынского явилось своеобразным отражением [260] внутренней неустойчивости бироновщины. Артемий Петрович вовсе не был сознательным борцом за процветание России вроде Татищева или Кириллова. Не был он и честным служащим типа Маслова или Румянцева. Вся его биография — это стремление занять место потеплее и подходнее. Он был не хуже, но и не лучше основной массы высшего слоя бюрократии. Бироновщина не могла обходиться без таких людей, как Ягужинский или Волынский. В противовес Остерману Бирон в 1735 году после смерти Гавриила Головкина вызвал из Берлина Ягужинского и сделал его кабинет-министром. Ягужинский через год умер. Бирон решил поставить на Волынского. «Я хорошо знаю, — разяснял он свой выбор иностранным дипломатам, — что говорят о Волынском и какие пороки он имеет, но где же между русскими найти лучшего и способнейшего человека?» (Можно подумать, что теми же пороками не обладали толпившиеся около Бирона иностранцы!) В свою очередь, Ягужинский предсказывал, что «Волынский посредством лести и интриг пробьется в кабинет-министры, но не пройдет и двух лет, как принуждены будут его повесить». Характеристика довольно меткая, хотя в ней и сквозит зависть потомка неизвестного польского органиста к потомку одного из видных родов русской аристократии.

Волынский поначалу служил могущественному покровителю верно. Он проявил усердие в деле Дмитрия Голицына. Он противостоял Остерману и никогда Бирону. Но постепенно в их отношениях образуется трещина, приведшая к трагическому для Волынского столкновению.

При всей неустойчивости характера Артемий Петрович был способным человеком, и его природному уму до сих пор просто не находилось применения. Сделавшись кабинет-министром, он почувствовал не только вкус к работе большого государственного размаха, но и скоро проникся важностью неотложных задач, стоявших перед страной. Он увидел то, чего ранее ему не позволяло замечать желание сделать карьеру: Россией управляют люди, менее всего способные что-либо ей принести, люди, воспринимающие даже русское дворянство как орудие своего обогащения. Безвольный Черкасский также не был глух к подспудным

настроениям. Правда, Черкасский обижался в основном за себя, считал, что его недостаточно ценят. Но обида помогала ему видеть действительные недостатки правления. Волынский быстро [261] загорался и умел зажигать. Он мог увлеченно говорить. Черкасский почти всегда принимал его сторону на совещаниях трех кабинет-министров. Это поднимало Волынского в собственных глазах. Он все более отдаляется от Бирона и охотно ведет разговоры с патриотически настроенными представителями русского дворянства. Патриотам нужно было знамя. Волынскому же нравилось быть знаменем. Он понимал, конечно, что принятая им на себя роль историческая. Но он недостаточно учитывал, с кем имеет дело. Похвалы «конфидентов» закружили ему голову, и он сам направился в пасть льву, войдя к Анне с предложением отстранить от дел людей недостойных (имея в виду прежде всего Остермана). Анна была крайне возмущена. Плод созрел.

Поводом для расправы с Волынским послужило дело под стать тому, что недавно было проведено (при участии Волынского) против Голицына. В. К. Тредиаковский написал эпиграмму под названием «Самохвал», в которой в свете легко узнали Волынского. Волынский дважды основательно побил Тредиаковского (что само по себе не считалось особенно предосудительным, если учесть разницу в их социальном положении), причем вторично он эту операцию «провел» в доме Бирона. Тредиаковскому подсказали «бить челом» об «увечьи», а Бирон немедленно ухватился за то, что расправа была учинена в его доме и жертва избиения его гость. И уже в застенке Волынскому предъявили действительные обвинения. 27 июля 1740 года он вместе с Хрущевым и Еропкиным был казнен «за важные и клятвопреступные, возмутительные и изменнические вины».

Трудно сказать, в какой мере «конфиденты» были осведомлены о социально-политических записках Татищева. Но Татищев с планом Волынского, изложенным в «Проекте о поправлении государственных дел», не был знаком. «Проект» вообще берет весьма широкий круг вопросов и некоторые из них решает более определенно, чем многочисленные записки Татищева. Сам Волынский высоко ценил результаты своих раздумий. Он полагал, что его «Проект» мог бы удовлетворить высокообразованных людей и «даже Василия Татищева».

В какой степени самоуверенность Волынского в отношении оценки его проекта передовыми людьми времени была оправдана, трудно сказать. Татищеву все-таки в нем наверняка не все могло понравиться. Но кое-что общее [262] в их политических воззрениях было. Волынский, как отмечалось выше, тяготел к тем кругам, которые намеревались еще в 1730 году добиться расширения гражданских прав дворянства, и только дворянства. Даже и против республиканских устремлений отдельных лиц Волынский выступал лишь потому, что считал русское дворянство пока не созревшим для республики. Как представитель русского дворянства Волынский мог себе позволить весьма резкие оценки деятельности правящего монарха. Он не стесняется заметить, что «государыня у нас дура» и что правит страной фактически не она, а «герцог курляндский» (то есть Бирон, которому Анна в 1737 году пожаловала этот титул). Татищев против этого, конечно, ничего не мог возразить: он знал Анну не хуже Волынского. Но чувства старого слуги правящего дома, дома, где он в семь лет стал стольником, вряд ли позволили бы ему быть столь откровенным даже с самим собой.

Татищев не мог согласиться с Волынским в определении точки отсчета. У Волынского в «Проекте» все рассматривается через призму интересов дворянства, для дворянства и во имя дворянства. То, что у Татищева иногда проскальзывает как чуть ли не предрассудок или даже как уступка своим адресатам - единомышленникам Волынского, в «Проекте» предстает как его суть. Волынский убежден, что все важные государственные должности следует непременно занимать дворянам. Его беспокоит лишь одно: каким образом можно пробудить гражданские чувства дворян? Добиться этого он рассчитывал путем расширения состава Сената, пополнения его

представителями дворянства. Волынский готов был дворянам передать и все канцелярские должности, которые обычно оставались за представителями третьего сословия. Татищев в одной из записок, при определении на должность судей — с его точки зрения, самых важных должностей в государстве - предлагал вообще руководствоваться исключительно деловыми соображениями, а не происхождением и даже не чинами. Не исключено, что эта идея Татищева была навеяна как раз обсуждениями данного вопроса у Волынского, и, во всяком случае, она предупреждала ход мыслей, изложенный в «Проекте».

Волынский предусматривал и поощрение промышленности и торговли, в чем он делал шаг навстречу Татищеву. Но этот вопрос в «Проекте» все-таки остался едва намеченным. К тому же и здесь Волынский не забывал [263] интересов дворянства, оставляя за ним монополию на винокурение.

Говорилось в «Проекте» также об улучшении учебы дворянства, в частности, о посылке дворян за границу, «чтоб свои природные министры со временем были». Но и в решении этого вопроса Волынский стоял далеко позади Татищева, настаивавшего на просвещении абсолютно всех слоев населения, включая инородцев.

Проект Волынского предусматривал дальнейшую бюрократизацию государственной системы. В местном управлении Волынский вообще намеревался восстановить несменяемость воевод, считая, что это помогло бы более успешному сбору налогов. У Татищева, напротив, вводится принцип сменяемости, коллегиальности, хотя к поставленному им в 1730 году вопросу о выборности высших органов власти он в позднейших проектах непосредственно не возвращается.

Был, однако, один аспект, который вполне примирил бы Татищева с Волынским и даже, может быть, с Платоном Мусиным-Пушкиным давним недоброжелателем Татищева, оказавшимся теперь также в числе «конфидентов»: ясно выраженное антинемецкое начало во всем этом предприятии. Волынский и его единомышленники стремились к отстранению от власти тех, кого и Татищев считал главными врагами Российского государства.

В октябре 1740 года скончалась императрица Анна. Накануне смерти она провозгласила Бирона регентом при двухмесячном императоре Иване Антоновиче — сыне племянницы Анны Ивановны — Анны Леопольдовны и герцога брауншвейгского. Поднявшийся в годы бироновщины президент Коммерц-коллегии Менгден выражал мнение многих выходцев из германских стран, заявив, что «если Бирон не будет регентом, то немцы в России погибнут». Но утверждению Бирона более способствовали некоторые русские, в числе которых были Черкасский, младший сын бывшего фаворита Анны Алексей Петрович Бестужев, Н. Ю. Трубецкой и ряд других. Бирону Сенат определил регентское жалованье; пятьсот тысяч рублей (то есть больше, чем официально регистрируемые расходы двора Анны). Бирон, однако, продержался лишь несколько недель, несмотря на столь горячую ревность Сената. «Патриотический энтузиазм» охватил Анну Леопольдовну, которая была возмущена «малослыханными жестокостями», водворением немцев и усилением [264] шпионства. А выразил эти «патриотические» настроения немец — фельдмаршал Миних, который 9 ноября 1740 года с восьмьюдесятью солдатами арестовал Бирона. Миниха поддержали и старый интриган Остерман, и недавний приверженец Бирона Головкин. Анна Леопольдовна была провозглашена регентшей. Для Татищева же не изменилось ничего.

В результате свержения Бирона немецкое засилье в России на первых порах даже усилилось. Теперь в руках немцев оказалось фактически все высшее правление. Но в этом была и их слабость. Иностранцы все-таки должны править руками туземцев. Иначе их позиция слишком обнажена, а потому уязвима. Когда гвардия увидела, что немцами заполнены не только подступы к трону, а и самый трон, она всерьез заволновалась.

Татищев бесплодно пытается добиться изменения состава откровенно враждебной к нему следственной комиссии. Бирона уже нет. Но прошения Татищева Сенат не рассматривает. Немцы не особенно скрывают, что Татищев для них абсолютно неприемлем. А хитроумный Остерман, погубивший не один татищевский проект, советует Татищеву повиниться и просить прощения. Василий Никитич попался на эту удочку, и получилось так, будто он признал свои «вины». Тем не менее и после такого унижения никакого «прощения» не последовало.

Вскоре Остерману пришел в голову новый план. В низовьях Волги резко обострились отношения между противоборствующими группировками калмыцких феодалов, от чего страдали и находившиеся в русском подданстве татары, и собственно русские поселения. 31 июля 1741 года по предложению Остермана правительство Анны Леопольдовны назначило Татищева в Калмыцкую комиссию, центром которой являлась Астрахань. Самому Татищеву Остерман обещал, что если ему удастся примирить «инородцев», то «вымышления клеветников уничтожатся». Татищев направился по новому назначению, находясь под следствием и не имея той самой «полной мочи», без которой он обычно отказывался принимать дела и без которой трудно было что-нибудь сделать в условиях, когда действовали не законы и установления, а «сила персон».